

ЩИТ ПЕРСЕЯ И КРУГ ХОМЫ: ПСИХОИСТОРИЧЕСКИЙ ЭТЮД

В.Е. Ключко (Томск)

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы психоисторического подхода к анализу культурных памятников, которые хранят в себе особенности миропонимания, свойственные людям, представляющим разные исторические эпохи. Делается вывод о том, что психоисторическое исследование должно опираться на выявление исторической трансспективы – закономерного усложнения системной организации человека в процессе развития цивилизации. Миф о Персее и повесть Н.В. Гоголя «Вий» в психоисторическом анализе открывают два способа решения проблемы противостояния Духа и Материи, свойственные людям разных исторических эпох.

Ключевые слова: психоистория, методы психоисторического исследования, человеческое в человеке, открытые и закрытые системы, психологические системы, теория психологических систем, щит Персея, круг Хомы.

Психоистория как раздел психологической науки пока только заявила о себе, но не успела определить свой предмет достаточно выражено. В силу этого ее иногда путают с историей конкретной науки, а психоисторическое исследование – с историко-психологическим. Впрочем, это и не удивительно. Если психология сама затрудняется в определении собственного предмета исследования, то что тогда говорить об ее отдельных ветвях, разделах и подразделах. Поэтому предварительно остановимся на анализе некоторых актуальных проблем современной психологии, полагая, что это позволит осознать актуальность психоисторического анализа.

Парадоксально, но с самого своего возникновения наука пытается представить себя как целое, как теоретическую систему (систему методологических принципов, научных категорий, знаний и т.д.), но при этом продолжает удерживать в качестве предмета нечто вполне эмпирическое, «самоочевидное» и при этом достаточно аморфное, никакой системой не представленное. Если нет системы в определении предмета науки, – не стоит ждать от такой науки системной теории. Нельзя построить систему знаний о чем-то, что само системой не является. Печальна участь науки, если движение категорий в ней определяет не изучаемая этой наукой реальность – человек как живая, развивающаяся, нуждающаяся, переживающая, иногда распадающаяся и гибнущая система, а личные предпочтения исследователей. Опасна здесь не вполне оправданная в данном случае субъективность, привносимая этими предпочтениями (без нее познание вообще невозможно), а вполне неоправданный субъективизм, который, кроме того, нельзя опровергнуть в связи с тем, что за теориями не стоит никакая исходная психологическая реальность, соответствие с которой определяет реалистичность и научную ценность создаваемых теорий. Поэтому стоит согласиться с Л.И. Воробьевой в том, что, говоря о субъективности как факторе, принципиально не устранимом из познавательного акта, надо застраховаться от психологизации этого термина, от трактовки его как личного пристрастия. Таково принципиально гносеологическое устройство самого познавательного аппарата человека, определяющего его возможности и ограничения [1]. Л.И. Воробьева, желая подчеркнуть драматизм ситуации, напоминает о мифе о щите Персея и Медузе Горгоны. Она считает, что ситуация, в которой оказывается

Персей, подобна той, в которой обнаруживает себя человек-в-мире. Она наполнена ужасом и страхом, возникающим у человека в ситуации незащитности, заброшенности, глобальной неопределенности, где нет никаких условных допущений, а есть только бездна, черная дыра, Медуза, от взгляда на которую каменеет Персей. Герой справляется с Медузой, потому что он смотрит на ее отражение в своем щите, а не прямо на нее. Дело, как считает автор, заключается в том, что рядом с ней он видит и свое собственное отражение, переставая быть сам для себя черной дырой. В единой плоскости проекции, плоскости щита, Медуза и Персей становятся соизмеримыми, так как он впервые становится способным видеть себя рядом с ней, появляется единая мера или единая плоскость интерпретации происходящего между ними, поэтому он и перестает ее бояться. Делается вывод о том, что самообнаружение, самосознание не дано нам как предпосылка познавательного процесса, а задано как условие, для выполнения которого требуются определенные усилия. Причем усилия не только и даже не столько со стороны разума; нужна еще смелость взглянуть на себя в зеркало и объединиться с Медузой в одномоментном схватывании. Такова цена добывания каждого поистине нового – как знания, так и опыта.

Последнее замечание особенно примечательно. Если оценить происходящее в двух словах, то можно сказать, что наконец-то вполне зримо начинает рушиться парадигма «философского гносеологизма», позитивное значение которой заключалось в том, что она долгие годы обеспечивала ощущение некоторого единства представителей научного сообщества, хотя бы и иллюзорного.

Сознание, то высшее, что отделяет нас от всего другого в ведомой нам части универсума, является не только тем, что позволяет нам видеть мир отдельно от себя (важнейшая предпосылка возможности познания). Обеспечивая феномен «присутствия человека в мире», оно определенным образом блокирует процесс познания человеком своего органического единства с ним. Это делает людей, психологов в том числе, необычайно сензитивными к любым философским концепциям, которые начинаются со столь привычного противостояния «Я» и «не-Я», психического и физического, объективного и субъективного, Материи и Духа.

Наивно-целостный, но по своему системный взгляд наших предков на все мироздание, их стихийный монизм,

проявляющийся в том, что они применяли одну и ту же мерку, одну и ту же точку зрения как к себе, так и противостоящим им внешним объектам и силам, привлекает своей органичностью. Он побуждает к реконструкции этой способности мыслить целокупностями, не потеряв при этом того многообразного знания об «Я» и «не-Я», которое было получено в период их неизбежного противопоставления. На этом противопоставлении «объективной реальности» и «субъективной реальности» поднялись и окрепли как воинствующий материализм, так и не менее воинствующий идеализм, на время перекрыв возможность «третьего» (целостного, системного) взгляда на мироздание. На нем же выростала парадигма отражения, окончательно закрепив противостояние субъективного и объективного, которое прошло в психологию в виде принципов детерминизма, помещающих причины сущего исключительно на полюсах Материи или Духа. Всегда на них, но никогда не «между», не в том пространстве их подлинного со-бытия, которое было таким реальным для наших предков и которое с таким напряжением становится той самой «психологической реальностью», которая призвана центрировать предмет науки.

Психоисторическое исследование предполагает сравнение людей, представляющих разные исторические эпохи, с целью показать ту дельту прироста «собственно человеческого в человеке», которая и отражает тенденции и направленность эволюционного процесса. Его конкретная задача – понять психику и сознание не в статике ставшего, а в динамике становления, что означает понимание их в контексте исторического развития человечества, которое, в свою очередь, есть только этап в общей цепи прогрессивной эволюции (становления) живой материи. За всем этим стоит более глобальная в своей космичности идея неразрывной системной связи живого и неживого, Материи и Духа – внутри единого процесса становления космического универсума. Если мы с этим не согласимся, то нам придется вообще отказаться от возможности создать психологическую науку, ибо не может быть науки о явлениях, не подчиняющихся никаким закономерностям. Человечество, понимаемое как случайно возникший «лишай на чистом теле вселенной», обречено на столь же случайную гибель. Какие могут быть «научные» эксперименты с тем, что само является неудачным экспериментом природы?

Для психологии, концентрирующей свой предмет не на человеке, а на его подсистеме (психике), психоисторическая проблематика неинтересна, и прежде всего потому, что предметом психоистории как раз и является человек, а общая психология, которая должна выступить в качестве методологической базы для психоистории, к человеку пока особого отношения не имеет. Его место занимают многочисленные «субъекты»: психика действует сама, выступая в качестве субъекта «психической деятельности», мышление мыслит (иначе как понять «саморегуляцию мыслительной деятельности»), внимание внимает и т.д.

Оценивая день сегодняшний нашей науки, можно сказать, что она находится в эпицентре парадигмального сдвига, выводящего ее к человеку: становится все более понятно, что психология больше не может удерживать психику в качестве предмета науки. Противоречия сегодня объективируются столь выражено, что приходится озвучивать вопросы, которые существовали всегда, но не всегда формулировались. Они касаются прежде всего той части «психологической реальности», на которую психологи предпочитали смотреть не прямо и мужественно, а искоса и украдкой, совсем как Персей с помощью зеркала щита смотрит на Медузу Горгону, полагая, что образ Медузы – это не сама Медуза, от взгляда которой можно окаменеть.

Самые «страшные» вопросы лежат в области аксиоматики психологии: если ответы на них окажутся вдруг отрицательными, то это грозит потерей, может быть, того единственного, что еще хоть как-то цементирует научное сообщество, задавая пусть и условные, но все-таки «образцы» научной и практической деятельности психологов. Первый такой вопрос: *а правда ли, что психика – это отражение «объективной реальности» или хотя бы нечто, каким-то образом все-таки связанное с ее отражением? И что делать, если ответ окажется отрицательным?* Ведь как это ни печально, но факт признания отражения в качестве ведущей функции психики еще не отрицала практически ни одна научная школа. А то, что делали мы в научной школе О.К. Тихмирова, где психика понималась в функции порождения новой реальности, никто не оценил в должной мере. Значит ли это, что подобные вопросы и не обсуждаются этими «практически всеми» научными школами, которыми представлена современная психология? Они обсуждаются, но в форме парадоксов или антиномий, которые появляются сразу же вслед за «безоговорочным» признанием отражения ведущей функцией психики.

Метод психоисторического исследования – метод психологической реконструкции образа мира и образа жизни людей в исторической транспективе, осуществляемый через анализ продуктов деятельности людей, сохранных в культуре.

Транспектива – это не ретроспектива (взгляд из настоящего, обращенный в прошлое), не перспектива (проектирование будущего из настоящего). Это такой взгляд, благодаря которому каждая точка на пути развития человечества (неуклонного и прогрессивного становления человеческого в человеке) понимается как место сосуществования времен, их взаимопроникновения и взаимоперехода, в котором реализует себя тенденция усложнения человека как системной организации. Каждое такое место интересно тем, что оно располагается в жизненном пространстве конкретных людей, живших в разные эпохи. И только кажется парадоксальной попытка говорить о жизненном мире уже ушедших людей. Психоисторическое исследование как раз и имеет целью

реконструкцию жизненного пространства людей разных эпох в его ценностно-смысловой насыщенности, его пронизанности проецируемыми в него потребностями и возможностями человека, личным опытом, верой, традициями, мышлением.

Когда мы понимаем жизненное пространство не только в его пространственно-чувственных характеристиках, а как конструкцию, в порождении которой самое активное участие принимает сознание, психика, мы можем говорить уже о ментальном пространстве, в котором пересекаются историческая транспектива человечества, градиент которой обращен в будущее, и личная транспектива каждого человека, градиент которой направлен из будущего в прошлое. Ментальное пространство чувственно-сверхчувственно: человек может и не знать о том, что через него реализуется историческая транспектива человечества, но и уйти от этой детерминации он не может. Здесь рождается экзистенциальное противоречие, которое человек разрешает своей жизнью. И решая «задачу на смысл» собственных действий, он пока еще ищет мотивировки, которые не требуют обращения к глубинным мотивам собственного поведения, иногда отказываясь от ответственности по отношению к будущим поколениям и почти всегда – от ответственности перед прошлыми поколениями.

Особенность взгляда на прошлое определяется парадигмой, которой ученый придерживается в настоящем. Она и служит своеобразной призмой, которую ученый ставит перед мирозданием и собой, получая в результате свою картину мира. В эту картину определенным образом вписывается, преобразуясь в самом процессе вписывания, и некая психологическая реальность, которую он пытается понять и объяснить – себе и другим.

Психология, построенная по принципу комплекса моносистемных наук, каждая из которых имеет отношение к психике, но по сути дела пользуется своим определением предмета науки, никакого целостного представления ни о психике, ни о человеке выработать не может. Полагаю, что и не сможет, поскольку мозаичный образ как психики, так и человека, сложившийся в науке, не может превратиться в целостный образ путем каких-то интеграционных процедур «на плоскости» – отсутствует системообразующий фактор. Можно сколько угодно декларировать необходимость «возвращения целостного человека в психологию», реально такое возвращение не фундировано наличными состояниями профессиональных образов мира психологов – отсутствует целостное мировосприятие. В этом плане мифологические представления о себе и мире у людей, живших четыре тысячелетия назад, отражавшие синкретизм их сознания, тем не менее, были, при всей их наивности, более целостны и органичны. Им было легче приписать душу всему своему окружению (среде), чем нам понять себя в собственной продленности в мир. Продленности, со-бытия с миром, которую обеспечивает наш беспокойный Дух. Потеряв мистическое чувство единства

с миром, целостности, мы не обрели его с помощью критериев рациональности, но обретаем, наращивая уровень системности мышления. Самое главное, что системное мышление, выработанное усилием поколений, особенно трех-четырех последних, проделавших беспрецедентный, на фоне более ранних поколений, подъем к системному мышлению высшего уровня, уже стало достоянием культуры. Теперь уже отсюда оно будет определять (уже определяет!) особенности мировидения у тех, кто сегодня совершает свой путь вхождения в культуру, как единственный способ обретения и наращивания человеческого в себе.

Архаика начинала с того, что мы сегодня пытаемся сделать предметом психологического исследования; мы превращаем в проблему то, что для архаичного мышления являлось постулатом. Они так видели мир – наивно-целостно, мистически-системно. Миф о Персее и Медузе – это иллюстрация архаичного миропонимания, ставшая достоянием культуры, точнее, оставленная для будущих поколений, чтобы те, вглядываясь в эту иллюстрацию, смогли бы на какой-то стадии развития увидеть в мифе не забавную сказку, не причудливые узоры архаичного мифотворчества, но лучше понять самих себя через неразрывную связь с ними. И пока мы смотрим на оставленные нам иллюстрации как на забавные картинки, умиляясь наивности тех, кто их рисовал, мы еще не вышли в психоисторический контекст. Верно, что «нарисованную корову нельзя доить», но если картину рассматривать не с позиции верности композиционного решения, учета перспективы или тщательности прописывания деталей, а изучать ее как продукт человеческой деятельности, психологический анализ которого позволяет понять особенности мировидения автора картины, то кое-что «надоить», безусловно, можно.

Вот как мне видится основная проблема архаики: как могут вступить во взаимодействие «нечеловеческое» и «человеческое», каким образом «нечеловеческое» становится «человеческим» (и наоборот). Архаика – первый шаг человечества к пониманию целостности (системности) мироздания и включенности живого в процесс его эволюции.

Имеются сведения о том, что миф о Персее и Медузе Горгоне уходит своими корнями в предания Древнего Востока, а в европейской культуре появляется в сроки, которые можно условно датировать двумя тысячелетиями до новой эры. Это можно утверждать, учитывая, что город Микены, который, по преданию, заложил Персей (сын бога Зевса и земной женщины Данаи), существует примерно шестнадцать с половиной веков. Появление повести Н.В. Гоголя «Вий» можно датировать абсолютно точно, хотя народные предания, на основе которых возникла повесть, также своими корнями уходят в прошлое.

Почему я выбрал в качестве предмета психоисторического исследования именно эти два культурных памятника, разделенные между собой почти четырьмя тысячелетиями? Потому что и в мифе о Персее, и в «Вие»

фабула все-таки одна – это проблема противостояния человеческого и нечеловеческого, Духа и Материи. Поэтому можно обозначить некоторые соответствия в двух произведениях, которые не являются случайными, полагая, что анализ соответствий позволяет выделить то устойчивое, что удержалось в миропонимании людей на протяжении четырех тысячелетий. Не будь этих соответствий, не возможен был бы и психоисторический (сопоставительный) анализ этих двух продуктов человеческой деятельности, поскольку нельзя было бы уловить и те различия в миропонимании, которые произошли в результате эволюции человека, а они, прежде всего, и занимают психолога.

Первое (и самое разительное) соответствие заключается в том, что центральная идея двух произведений построена на запрете: нельзя *прямо* смотреть на Материю. Окаменеешь, если прямо посмотришь на Медузу Горгону, убеждает Персей Афина, вручая ему отполированный до зеркального блеска медный щит. Но это же происходит и с Хомой при первой встрече с панночкой-ведьмой: «Он вскочил на ноги, с намерением бежать, но старуха стала в дверях и вперила на него сверкающие глаза и снова начала подходить к нему. Философ хотел оттолкнуть ее руками, но, к удивлению, заметил, что руки его не могут приподняться, ноги не двигались; и он с ужасом увидел, что даже голос не звучал из уст его: слова без звука шевелились на губах». Заметим, что и смерть Хомя наступила после того, как он встретился глазами с Вием.

Почему идея запрета прямого взгляда на материю повторяется через столь большой период времени, вобравший в себя и принятие христианской религии, и коперниковскую революцию в понимании мироустройства, и философскую метафизику, и даже диалектическую философию, не говоря уже о возникновении наук и той картины мира, которая формировалась в опоре на них?

Может быть, эта идея в аллегорической форме утверждает факт того, что противостояние «человеческого» и «нечеловеческого», Материи и Духа достаточно условно и, глядя в Материю, человек непременно обнаружит в ней и себя самого? И с трудом поддающаяся современному научному осмыслению идея о том, что вселенная в сущности своей антропоцентрична, была более доступна людям, которые еще не были ограничены идеалом рациональности, и значит, не столь «уверенно» делили все на «Я» и «не-Я», «внутреннее» и «внешнее», «объективное» и «субъективное»? Что, может быть, мы не столько опускаемся на уровень архаичного мышления, для того чтобы сделать свои суждения о нем, сколько поднимаемся к их способности видеть мир целостно, системно? И, следовательно, не предупреждают ли они нас о том, что у человека в принципе нет прямого выхода в мир «чистой объективности»? «Чистая объективность» – это «вещь в себе», еще не ставшая «вещью для нас», а потому она не является реальностью, в которой можно жить, с которой можно взаимодействовать. Реальность, какая бы она ни

была, может пугать, может вызывать страх, но истинный ужас вызывает у людей то, что хранит «вещь в себе», непонятная, неизведанная, несоизмеримая человеку. И узнать собственные свои человеческие «размеры», свои потребности и возможности можно только встретив сопротивление, идущее от этой «чистой объективности».

Ужас перед непонятным (неизвестным, непознанным, несоизмеримым), ожидание, что «оттуда» что-то непременно появится и попытка придать ему какой-то смысл, чтобы оно стало реальностью, – такова, на мой взгляд, общая подоплека возникновения образа Медузы Горгоны и панночки-ведьмы.

Сами по себе Материя и Дух являют собой противоположности, которые не могут взаимодействовать друг с другом непосредственно – слишком велико их несоответствие. Поэтому взаимодействие между ними опосредовано людьми, которые на самом деле уже не просто люди, а вполне конкретные представители этих противоположностей. На стороне Духа выступает бурсак (слушатель духовной семинарии) Хома Брут и герой Персей. На стороне Материи почему-то только женщины – панночка-ведьма и Медуза Горгона.

Интересно это совпадение. Авторы двух культурных памятников вышли к такому соответствию только потому, что они мужчины и женщины для них остаются в определенной мере непредсказуемыми, суть загадочными? Кажется, об этом говорит утверждение одного из героев «Вия»: «Ведь у нас в Киеве все бабы, которые сидят на базаре, – все ведьмы». На что его оппонент только «кивнул головою в знак согласия».

Есть, однако, здесь еще несколько моментов, которые можно учесть. Это привычность, почти обыденность признания в человеке единства противоположных – естественных и сверхъестественных, чувственных и сверхчувственных, «чистых» и «нечистых» – начал. Характерен спор казаков о том, «можно ли узнать по каким-нибудь приметам ведьму?». Ответ старого казака Дороша («никак не узнаешь; хоть все псалтыри перечитай, и то не узнаешь») весьма характерен, особенно учитывая финал разговора. «Когда старая баба, то и ведьма». Показательна эта толерантность народа к сложности, всевозможности человека, к тому, что в нем может ужиться как прекрасное, так и ужасное. Это напрямую касается и самого Хомя, когда он вдруг уподобился панночке: усмирив ведьму, он неожиданно для себя «оседлал» ее и открыл в этом слиянии столько нового о себе и мире, что в иных обстоятельствах, возможно, не открыл бы никогда. И то, что он открыл в себе, было в нем и раньше. Смеем утверждать, что панночка выбрала себе в качестве противника Хомя, потому что именно он наиболее соответствовал ей. Соответствие стало причиной взаимодействия панночки и Хомя, а различие в них было тем, ради чего состоялось взаимодействие.

Хома выступает от имени человечества. Он представляет некую квинтэссенцию духовности, оставаясь при

этом существом многомерным, земным. В нем есть то, что отзывается на происки «чужого». Он открывает в самом себе то, что удивляет и одновременно пугает его, — вдруг обнаруживающуюся способность иновосприятия, почти готовность принять «противоестественный» образ жизни и образ мира. Иными словами, Хома оказывается столь же внутренне противоречивым, как и панночка, и это обеспечивает их соответствие друг другу, гарантируя неизбежность встречи. Они нуждаются друг в друге, потому что в каждом из них есть то, чего не хватает другому, без чего каждый из них не может быть устойчивым. Панночке не хватает духовной силы для победы в борьбе, от которой она уже устала, борьбе человеческого и нечеловеческого в самой себе. И такая сила есть у Хома. Панночка все-таки земной, страдающий человек, душа которого требует покаяния и прощения. И в то же время нечеловеческое в ней требует отмщения.

Сам Хома только через панночку может понять себя за пределами сложившегося у него «образа Я». Он не знает истинной силы своего духа и того, сколько он может претерпеть в борьбе за отстаивание человеческого в себе пред лицом сил, которые именно это и хотят у него отнять. Правда, был момент единения, взаимодействия, взаимоперехода, когда Хома и панночка учили эти безумные скачки, попеременно выполняя функции коня и всадника. Но ведь эти «скачки», олицетворяющие их единение, гармонию, слияние, не могли продолжаться долго. Здесь панночка выступает как орудие темных и слепых сил. Она — глаза этих сил. Потому они и горят у нее каким-то безумным светом. Эти силы есть только разменная монета в борьбе противоположностей, двух автономных организаций, систем, которые не могут взаимодействовать напрямую — несоответствие их разительно. Поэтому борьба этих систем происходит через посредников. И Хома, и панночка являют собой Пограничье — он со стороны человеческого, она со стороны нечеловеческого. Через них только и могут взаимодействовать две организации; это взаимодействие приводит к гибели обоих.

Здесь необходимо остановиться на еще одном соответствии, которое имеется в двух анализируемых произведениях. И у Персея, и у панночки был выбор, у Медузы и Хома его практически не было. Медуза — только одна из трех сестер Горгон. Хома — один из трех путешествующих вместе друзей, который был отобран панночкой. В чем суть выбора? Не в том ли, что в каждом случае отбирались только те, кто максимально соответствовал выбирающей стороне.

Итак, три сестры Горгоны: Медуза, Свено и Эврил-ла, женщины-чудовища, дочери морских божеств Форкиса и Кето. Крылатые, покрытые чешуей, с извивающимися змеями вместо волос, они одним своим видом наводили ужас. Всякий, кто встречался глазами с Горгонами, превращался в камень. Почему же выбрана Медуза? А с кем же из трех сражаться Персею? Только с Медузой, которая в отличие от старших сестер *была*

смертной, т.е. была наиболее близка людям и наверняка могла испытывать страдания, в том числе и от своей «пограничности», совмещенности в себе двух противостоящих сущностей. Далее, из всех людей Персей был в максимальной степени подготовлен к встрече с Медузой — соответствие делало их встречу неизбежной. Просто осуществилось то, что могло осуществиться, было возможным, т.е. ожидаемым. В соответствующих условиях ожидаемое всегда осуществляется.

Сын Зевса и земной женщины Данаи Персей быстро становится богатырем, жаждущим самореализации. Он не отбивается от врагов, он активно ищет противника, соответствующего его возможностям. Персей подобрался к спящей Медузе, глядя на её отражение в медном щите, и отрубил ей голову. Отрубленную голову герой передал Афине, которая прикрепила ее к своей эгиде. И вот что интересно: отрубленная голова Медузы не потеряла свои силы — она «очеловечилась», перестала трогать «своих» людей, но продолжала убивать... теперь уже их врагов.

У панночки-ведьмы тоже был выбор. Это были три друга, которых она, будучи в образе старухи, предусмотрительно разделила, расселяя их «на постой». В течение достаточно короткого времени выбор был сделан — философ Хома Брут. Кандидатуры двух других были отклонены. Богослов Халаява, имя которого говорит само за себя, «был рослый, плечистый мужчина и имел чрезвычайно странный нрав: все, что ни лежало, бывало, возле него, он непременно украдет. В другом случае характер его был чрезвычайно мрачен, и когда напивался он пьян, то прятался в бурьяне, и семинарии стоило большого труда его сыскать там». Для панночки он был не соперник — сражаться с ним, конечно, было можно, но ради чего? Не было у него той силы духа, ради которой стоило затевать борьбу.

Вторая кандидатура — ритор Тиберий Горобешь — и вовсе не была подходящая для замысленного. Это был подросток, который по законам духовной семинарии «еще не имел права носить усов, пить горилки и курить люльки», да и «характер его в то время еще мало развился». Сражение с таким не принесет ни вожаденной добычи, ни славы. Оставался философ Хома, который не так давно был ритором, но еще не доучился до ранга богослова (старшие курсы духовной семинарии). Лет примерно восемнадцати-двадцати, Хома Брут «был нрава веселого» и был он фаталистом, с «философским равнодушием», принимающим даже самые жестокие наказания, «говоря, что чему быть, того не миновать». И было в нем что-то такое, что разглядела в нем панночка, но чего, может быть, не замечал в себе ни он сам, ни другие.

Итак, общее в обоих произведениях заключается в том, что в каждом из них имеется активно выбирающая сторона (Персей и панночка) и сторона пассивно-страдательная, «которую выбрали». В основе выбора лежит соответствие, оно и было основной причиной последующего взаимодействия сторон, а также того, что это вза-

имодействие за собой повлекло. Только в мифе о Персее показывается, как в борьбе противостоящих сторон очеловечивается нечеловеческое, а в «Вие» объективируются гораздо более сложные процессы.

В первом случае сражения как бы и не получилось вовсе. По некоторым версиям, Медуза в момент нападения спала, Персей был невидим, защищенный не только зеркальным щитом, который ему дала Афина, мечом, который дал Гермес, но еще и волшебным шлемом Аида, делавшим его невидимым. В случае с Хомой сражение состоялось, но оружием у него были христианские молитвы и языческие заклинания, которые он постоянно путал, находясь в состоянии, которое полностью подпадает под определение «ригидность».

Остановимся на хронотопических характеристиках той борьбы, которая происходила в заброшенной церкви. Замечу, что рассматривать человека в транспективе – это значит рассматривать его хронотопически, т.е. понимая, что субъективное время человека («хроно») и его личное пространство («топ», жизненный мир) можно разделить только в абстракции, разрушающей истинную системную (целостную) природу человека. Пространство и время человека – суть только различные формы проявления единого процесса перехода поливариативного будущего в моновариативное прошлое. «Круг» Хомы демонстрирует предельный случай, когда человек, пытаясь удержать свою устойчивость, которая может быть нарушена в результате воздействия на него среды, вдруг ставшей для него полностью враждебной, закрывается от будущего с его «всевозможностью», поливариативностью и пытается удержаться в настоящем исключительно за счет ресурсов, обретенных в прошлом. Хома не знал, что изменение пространственной конфигурации жизни неминуемо вызовет перестройку ее временных параметров. Ужас заполняет, переполняет жизненный мир Хомы, пространственно сжавшийся до уровня протянутой руки, которой он очертил свой «круг». Замысленный в качестве «спасательного круга», «круг» становится истинной причиной гибели Хомы.

Теперь уже становится понятным, насколько человечество поднялось за четыре тысячелетия в своей способности не только целостно воспринимать мир и себя в нем, но именно системно осмысливать эти взаимосвязи и переходы. Человек может жить только в постоянном движении, постоянном переходе, трансценденции. Развитие – это способ его бытия. Закрывающиеся системы гибнут, и об этом предупреждает нас Хома, который запер себя в круге. Субъективное время здесь летит с неимоверной скоростью. Уже после второй ночи в церкви Хома стал седым (признак старости), но разве можно сравнить эту ночь с третьей?

Так отчего умер Хома? Погибает ведь он не от того, что подвергся прямому нападению «нечисти», – она его даже не успела коснуться. Мне кажется, что и не страх был причиной смерти Хомы. Ведь и сам страх имел свою первопричину. Ничего бы не произошло, если бы Хома

не убил панночку, пусть и маргинального, но человека. Он ведь сам понял, что превзошел что-то, убивая старуху: «*точно ли это старуха?*»

Гоголь – великий хронотопист. Вроде бы совсем недавно Хома устраивался спать в хлеве, отведенном ему старухой, когда пришла она сама и начались эти бешенные «скачки» – вне времени и в каких-то нереальных пространствах. А сейчас он «стал на ноги и посмотрел ей в очи: рассвет загорался, и блестели золотые главы вдали киевских церквей». Расстояние от хутора до Киева (по повести, не меньше пятидесяти верст) было преодолено за совершенно короткое физическое время. А вот сколько прошло субъективного времени в «совмещенной системе» Хома – панночка? Время у Гоголя зависит от модальности эмоционального восприятия пространства. Хома, вдруг с помощью панночки ставший открытой системой, переполнен эмоциями в основном позитивного плана. Они представляют собой смесь наслаждения, непонимания и тревоги: «Он чувствовал бесовски сладкое чувство, он чувствовал какое-то пронзающее, какое-то томительно-страшное наслаждение». Хома временами перестает слышать свое сердце, оно, кажется ему, остановилось, и он пытается его «нащупать». Но остановилось не сердце, остановилось субъективное время в открытой системе Хома-панночка. Между двумя ударами сердца умещается целая вечность и огромные новые пространства, которые открываются взору. Такое бывает только в минуты творческого экстаза, не случайно Гегель определил творчество как «маленькую смерть». Но совершенно другое течение времени, когда Хома оказался в замкнутом круге.

Своим поступком Хома преступил границы человеческого, войдя тем самым в сферу «нечеловеческого», став в чем-то соответствующим ему, соизмеримым с ним, и это соответствие стало причиной того, что «нечеловеческое воинство» вступило в схватку с Хомой. Так что же стало причиной смерти Хомы? Если бы причину смерти устанавливал патологоанатом, не знавший всей предыстории, он написал бы: «умер от старости».

Психоисторический поход привлекателен тем, что он задает другой аспект анализу литературных творений, созданных ушедшими поколениями. Здесь они выступают в функции притчи, смысл которой должен понять сам читатель, т.е. только он сам может подняться к смыслу и никто не может облегчить его путь к самому себе. Прямые научные заключения, какими бы правильными они ни были, останутся сентенциями, если они не обретут смысл, т.е. того, что указывает на их соответствие человеку, отвечает его познавательным потребностям.

Покажем это на примере того, как работает по типу «щита Персея» психологическая защита у ученых-психологов. Уже давно сформулировал Л.С. Выготский мысль о том, что *психика не отражает мир, а изменяет его*, и вполне определенным образом – «чтобы можно было действовать» [2, с. 347], но сколько психологов смогли оценить эту идею? Казалось бы, прямо,

вполне недвусмысленно заявлено о том, что мир, который, как нам кажется, мы познаем в его «чистой объективности», на самом деле есть выстроенная нами субъективно-объективная конструкция, в создании которой и принимает непосредственное участие психика. Более того, Л.С. Выготский, опасаясь, что останется непонятым, усиливает мысль, расшифровывает ее: «в этом ее “положительная роль – не в отражении... а в том, чтобы не всегда верно отражать, т.е. субъективно искажать действительность в пользу организма”» (Там же). «Удвоенная», субъективно-объективная реальность, не сводимая к противоположным полюсам, выступающая для Л.С. Выготского как «переходная форма» между Духом и Материей [3], которую он сознательно искал, и ведь нашел-таки, в чем заключаются «психологические свойства внешнего», – все это осталось пропущенным современниками и... пропускается до сих пор. Новое понимание ничего не изменило, более того, его обошли вниманием даже пристрастные критики, цеплявшиеся ко многим моментам его творчества, но к этому – никогда.

Слишком опасно это место, слишком пугающим является этот новый взгляд, грозящий поколебать устои, тот фундамент, на котором выстроено здание психологии, которое возвел для себя психолог. Чтобы не «окаменеть», как Персей перед Медузой, снова используется «щит Персея», позволяющий рассмотреть Выготского в зеркале собственной парадигмы, где он действительно выглядит вполне соизмеримым с тем, кто его

изучает. Но это уже не истинный Выготский, создатель «вершинной» психологии, а его двумерный зеркальный двойник, копия, уменьшенная до размеров, которые позволяют разместить в пределах одной отражающей плоскости оба образа – зрителя и того, на кого он смотрит. И вот уже «Моцарт в психологии» приземлен, он потерял загадочность, от него уже не исходит «ощущение высочайшей методологической культуры», и снижен уровень системности его мышления до общепринятого... Зато и нет страха; устойчивость исходной парадигмы не только не поколеблена, она возросла, закалившись в борьбе с «инакомыслием».

Главное заключается в том, чтобы «щит Персея» не превратился бы в «круг Хомы», внутри которого так и будет метаться, угасая, психологическая мысль. Мысль, не способная прийти ни к Материи, ни к Духу, ни к Богу. Как она уже сотни лет прыгает внутри «методологического треугольника», углы которого и представляют эти три ипостаси, попеременно выдвигаемые в качестве первопричин. От материалистической психологии к христианской, а от них снова к Духу, изолированному как от Материи, так и от Бога.

Психоистория оптимистична. Она вселяет надежду на возможность целостного взгляда на мироздание и, кроме того, показывает, что мы все равно движемся по пути познания человека как закономерно усложняющейся пространственно-временной организации, направленность развитию которой задает историческая транспектива человечества как открытой системы.

Литература

1. Воробьева Л.И. Гуманитарная психология: предмет и задачи // Вопросы психологии. 1995. № 2. С. 19–30.
2. Выготский Л.С. Исторический смысл психологического кризиса // Собр. соч.: В 6 т. Т. I. М., 1982. С. 291–486.
3. Выготский Л.С. Конкретная психология человека // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. 1986. Т. I. С. 52–63.

THE PERCY'S SHIELD & THE HOM'S CIRCLE: THE PSYCHOHISTORICAL SKETCH
V.E. Klochko (Tomsk)

Summary. The questions of the psychohistorical approach are researched in this article to analysis of cultural monuments, which contain the peculiarities of people various historical epochs. The conclusion could be, that psychological research should be based on the reveal of historical transspectivity of constant systematical organization complication of humanbeing in the process of civilization development. The myth about Percy and the story «Viy» by N.V. Gogol shows two ways to solve the problem of Spiritual and Material resistance, peculiar to people of various historical epochs.

Key words: psychohistory, methods of psychohistorical researches, human in humanbeing, open & closed systems, psychological systems, the theory of psychological systems, Percy's shield, Hom's circle.